



# Оглавление

I

Поверх заборов

11

II

Лауреаты

107

III

Аллея классиков

221

IV

Дом творчества

349

V

Предполагаем жить

551



Они ушли, а я остался их соседом  
по Переделкину, по времени и по себе,  
вместившему память об ушедших...

*Александр Нилин*



Судя по всему, я и зачат был здесь длинной дачной ночью осенью тридцать девятого — и мне ли не чувствовать дачный поселок Переделкино своей родиной?

Все, кого узнал я в раннем детстве (или чуть-чуть позже), давно ушли, и вот что самое забавное: очень скоро не будет и меня — ребенка, впервые увидевшего литературных людей сквозь штакетник соседских заборов.

Для красного словца, без которого про писателей не расскажешь, я сразу же отчасти и приврал: за войну все заборы между дачами сожгли, и вновь они появились позднее, когда я чуть подрос.

Мое первоначальное представление о Переделкине — территория, не разграниченная ни послевоенным штакетником, ни сплошными заборами впоследствии.

И какой сюжет мог увлечь меня больше, чем тот, что заложен был в особенностях писательского соседства — менявшегося в оттенках, но все равно продолжавшегося?

Все, кого знал я с детства, исчезли.

Они уходили один за другим. Одни жили в Переделкине (и вообще) очень долго, другие относительно долго; были и такие, что ушли, как принято говорить, безвременно, хотя кому дано знать, с какой интенсивностью расходуется время, отведенное на жизнь каждого из нас.

Они ушли, а я остался их соседом — по Переделкину, по времени и по себе, вместившему память об ушедших.

“Но кто мы и откуда...”

Доподлинно ли знаю, что строчка эта сочинена на дачной переделкинской земле?

А какая — в данном случае — разница?

Книги на тщательно проверенном справочном материале напишут другие, а ты, Саша (я то есть), полагайся на эксклюзив собственной памяти.

И все же лестно надеяться, что вопросом “кто мы” и так далее наш сосед задался именно в Переделкине.

К тому же сам Борис Леонидович предпочитал тасовать карточную колоду безусловных реалий по своему усмотрению: не согласился же он с замечанием Ахматовой, что в белые ночи питерских фонарей не зажигали, — в его трансформации ночей утро должно было тронуть “первой дрожью” фонари непременно зажженные, а то как бы он назвал их “бабочками газовыми”?

За годы, проведенные в писательском поселке, я так и не сделался арендатором и прожил в Переделкине больше семидесяти лет на птичьих (родственных) правах.

Официальным владельцем здешних угодий считается потевший свое прежнее значение Литературный фонд.

Но принадлежит Переделкино в своей писательской части и будет все равно принадлежать, когда исчезнет физически (что не за горами, а точнее, за гибнущим лесом), истории, и не только истории литературы.

И я, ничуть не смущенный неопределенностью своего статуса, позволяю себе развести действующих в повествовании лиц в определенную (мною же определенную) мизансцену для ментальных снимков.

I

Поверх  
заборов





# Глава первая

## — 1 —

Меня преследует, мучая, фраза: “Последнее мирное лето”. Произнесенная как бы вслух, она помогает вызвать в памяти необходимое мне для повествования лето. Лето сорокового года — я родился тридцать первого июля. По совпадению: за окном столь малый фрагмент переделкинского пейзажа, что вряд ли он сколько-нибудь существенно изменился за прошедшие больше чем полвека. Некошенная трава с незажженными фонариками одуванчиков, накренившийся ствол березы, извилистая сосна и сохранившие стройность ради конвоирования темной аллеи тополя.

В последнее, действительно мирное лето крестный положил на мое имя в сберкассе сто рублей с условием, что вкладом я смогу воспользоваться по наступлении совершеннолетия — в тысяча девятьсот пятьдесят шестом то есть году.

Год, предшествовавший моему рождению, и первый год моей жизни в биографии родителей смотрится временем как бы не наибольшего для них благоприятствования.

Конечно, в историческом контексте их молодой оптимизм выглядит едва ли не кошунственным.

И вчитайся я в отцовские записи того периода не сегодня, а, скажем, позавчера, мое осуждение родительских настроений не знало бы удержу.

Сегодня же записи в старой тетради помогают мне не впасть в отчаяние — в толщу непрозрачных лет я не окунаюсь, а ныряю...

## — 2 —

Мне всего полтора месяца, когда впервые еду я на автомобиле из Переделкина в Москву, о чем свидетельствует запись отца в тетрадь, названную им бортжурналом. Тетрадь эту он заводит в августе сорокового года по случаю покупки машины “М-1” (в просторечии “эмки”). В бортжурнал он вкладывает плотный конверт с грифом Управления делами СНК Союза ССР (Москва, Кремль).

Для покупки новой машины тогда требовалось распоряжение Совнаркома — оно и было получено шестого августа за Ки 898-451, а двадцать девятого “эмку” уже перегнали из Смоленска в Переделкино. И отец записывает, что со всеми накладными расходами и оплатой за перегон она обошлась ему в десять тысяч восемьсот сорок рублей шестьдесят пять копеек.

Это почти половина стоимости нашей старой машины, купленной у народной артистки Барсовой и ее мужа Бориса Львовича Камень-Камского. Но новую машину никак нельзя сравнить с дрянненькой барсовской колымагой.

Новую нашу машину можно сравнивать только с транспортом будущего. Она нам кажется сейчас самой красивой, самой лучшей.

Она черного цвета с красной полоской...

Что это? Хроника преуспевания молодого, едва переступившего в четвертое десятилетие литератора или, скорее даже, кинематографиста?хлопоты его кажутся сплошь приятными и подтверждающими причастность к миру людей известных, влиятельных и тоже, разумеется, преуспевающих и, похоже, беспечальных, уверенных в своем завтрашнем дне. Все вокруг выглядят довольными судьбой.

Единственное исключение: “Обратно в Переделкино с нами ехала девушка Мариша, которую в этот день за опоздание на работу в Библиотеке иностранной литературы приговорили к пяти месяцам принудительных работ с удержанием двадцати пяти процентов зарплаты.

Мы угощали ее яблоками, везли в новой машине, но она все равно была очень грустная. Ее не разведал даже пирожок с мясом, который я купил ей по дороге...”

Впрочем, и такая запись тоже есть: “Мы ходили с Евгением Петровым по парку его дачи и говорили обо всем и о войне. Он говорил, что это ужасно, что немцы сбросили миллион бомб на Лондон. К Петрову пришел его брат Валентин Катаев. И тоже сказал, что это ужасно.

А я пошел домой, чтобы писать сценарий и повесть про Мишку Селезнёва. В доме у нас тихо, тихо...”

Не гонит ли отец от себя ненужные для душевного спокойствия мысли? И нет ли доли самовнушения, нет ли психотерапии в подробном перечислении успокаивающих подробностей его тогдашней внешней жизни?

Он учится управлять машиной. “Возил Афиногенова на Бакровку. Был выпивши. Вел плохо”.

Машины есть еще не у всех даже весьма известных собратьев. “Дорогой Павел Филиппович, — пишет ему записочку Лев Кассиль, — если вы вернулись вчера, — встаньте, пробудитесь и с подательницей сего сообщите, в какой, как говорят моряки, часовой готовности Вы и Ваш «кар» находитесь”. Кассиль шутиливо подписывается “Ответственный по футболу”.

Они едут вместе на международный матч московских динамовцев с болгарами — страстный спортивный болельщик Кассиль и отец, ни до, ни после той довоенной поездки на футболе не бывавший...

Театр — родителей приглашают на свои премьеры дачные соседи-драматурги: Александр Афиногенов и Борис Ромашов.

Знаменитое кафе “Националь” — завтраки, бритье в парикмахерской. “В «Национале» виделся с Луковым”.

“В сценарном отделе встретил Афиногенова. Поехали вместе в «Националь»...”

“Заехал в ВУАП. Встретил старика Тренёва. Познакомившись со мной, он сейчас же сказал: «Меня жена тормозит, говорит, что вы знаете, где продают “Бюик”. Хочу купить». Я сказал, что не знаю. Он огорчился. Подумал, наверное, что не стоило знакомиться”.

“У нас бал”, — записывает отец восьмого ноября. Запись короткая, поскольку: “...пьянствовали до пяти утра”.

В гостях были: режиссер Луков, кинооператор, снявший “Броненосца Потёмкина”, Эдуард Тиссе, Евгений Петров, Кас-